

## IX

Материализм сражается только против теории; в практической жизни мы все материалисты и все идем в разлад с нашими теориями; вся разница между идеалистом и материалистом в практической жизни заключается в том, что первому идеал служит вечным упреком и постоянным кошмаром, а последний чувствует себя свободным и правым, когда никому не делает фактического зла. Предположим, что вы в теории крайний идеалист, вы садитесь за письменный стол и ищете начатую вами работу; вы осматриваетесь кругом, шарите по разным углам, и если ваза тетрадь или книга не попадется вам на глаза или под руки, то вы заключаете, что ее нет, и отправляетесь искать в другое место, хотя бы ваше сознание говорило вам, что вы положили ее именно на письменный стол. Если вы берете в рот глоток чаю и он оказывается без сахара, то вы сейчас же исправите вашу оплошность, хотя бы вы были твердо уверены в том, что сделали дело как следует и положили столько сахара, сколько кладете обыкновенно. Вы видите таким образом, что самое твердое убеждение разрушается при столкновении с очевидностью и что свидетельству ваших чувств вы невольно придаете гораздо больше значения, нежели соображениям вашего рассудка. Проведите это начало во все сферы мышления, начиная от низших до высших, и вы получите полнейший материализм: я знаю только то, что вижу или вообще в чем могу убедиться свидетельством моих чувств. Я сам могу поехать в Африку и увидеть ее природу и потому принимаю на

веру рассказы путешественников о тропической растительности; я сам могу проверить труд историка, сличивши его с подлинными документами, и потому допускаю результаты его исследований; поэт не дает мне никаких средств убедиться в вещественности выведенных им фигур и положений, и потому я говорю смело, что они не существуют, хотя и могли бы существовать. Когда и вижу предмет, то не пуждаюсь в диалектических доказательствах его существования; *очевидность есть лучшее ручательство действительности*. Когда мне говорят о предмете, которого я не вижу и не могу никогда увидеть или ощутить чувствами, то я говорю и думаю, что он для меня не существует. *Невозможность очевидного проявления исключает действительность существования*.

Вот каноника материализма, и философы всех времен и народов сберегли бы много труда и времени и во многих случаях избавили бы своих усердных почитателей от бесплодных усилий понять несуществующее, если бы не выходили в своих исследованиях из круга предметов, доступных непосредственному наблюдению.

В истории человечества было несколько светлых голов, указывавших на границы познания, но мечтательные стремления в несуществующую беспредельность обыкновенно одерживали верх над холодною критикою скептического ума и вели к новым надеждам и к новым разочарованиям и заблуждениям. За греческими атомистами следовали Сократ и Платон; рядом с эпикуреизмом жил новоплатонизм; за Бэконом и Локке, за энциклопедистами XVIII века последовали Фихте и Гегель; легко может быть, что после Фейербаха, Фохта и Молешотта возникнет опять какая-нибудь система идеализма, которая на мгновение удовлетворит массу больше, нежели может удовлетворить ее трезвое мирозерцание материалистов. Но что касается до настоящей минуты, то нет сомнения, что одолевает материализм; все научные исследования основаны на наблюдении, и логическое развитие основной идеи, развитие, не опирающееся на факты, встречает себе упорное недоверие в ученом мире. (Не последовательности выводов требуем мы теперь, а действительной верности, строгой точности, отсутствия личного произвола в группировке и выборе фактов. Естественные науки и история, опирающаяся на тщательную критику источников, решительно вытесняют умозрительную философию; мы хотим знать, что есть, а не догадываться о том, что может быть. Германия — отечество умозрительной философии, классическая страна новейшего идеализма — породила поколение современных эмпириков и выдвинула вперед целую школу мыслителей, подобных Фейербаху и Молешотту. Филология стала сближаться в своих выводах с естественными науками и избавляется мало-помалу от мистического взгляда на человека вообще и на язык в особенности. Известный молодой ученый Штейнталь, комментировавший Вильгельма Гумбольдта в замечательной брошюре

«Языкознание В. Гумбольдта и философия Гегеля», откровенно сознается в том, что умозрительная философия сама по себе существовать не может, что она должна слиться с опытом и из него черпать все свои силы; он понимает философию только как осмысление всякого знания и вне области видимых единичных явлений не видит возможности знания и мышления.

Не забудьте, что это голос из противоположного лагеря, голос со стороны гуманистов,<sup>36</sup> — людей, не привыкших обращаться с микроскопом и с анатомическим ножом и по самому роду своих занятий расположенных искать высших причин и двигательных сил; если эти люди сходятся в своих идеях с натуралистами, то это доказывает, что доводы последних действительно имеют за себя неотразимую силу истины. Признание Штейнталя далеко не представляется нам единичным фактом, исключением из общего правила. Вот, например, что говорит Гайм в своем предисловии к лекциям о философии Гегеля («Гегель и его время», стр. 9): «Есть души, которые никак не в состоянии обойтись без так называемых Бэконом *idola theatri* \* и потому постоянно будут страшиться скачка через широкий ров, отделяющий метафизическое от чисто исторически-человеческого. К числу таких людей принадлежат те, которые точку опоры ищут не в самих себе, но над собой и вне себя». Далее (стр. 14): «Господствующее в наше время удаление от занятий философией и все более и более возрастающая самостоятельность исторической науки и естествоведения должны пользоваться, как всякий согласится, по крайней мере теми же правами, как и всякий другой факт».

Из этих слов Штейнталя и Гайма можно, кажется, вывести заключение, что умозрительная философия упала в общественном мнении ученого мира и что падение это признано даже теми людьми, которые *ex officio*, как ученики Гегеля и люди, занимающиеся философией, должны были отстаивать ее права на существование. Посмотрим теперь в беглом очерке, как отнеслась к этим современным явлениям и вопросам наша критика и ученая литература.

## Х

Прилично писать о философии для нас дело новое; семинарская философия существует уже давно, но она, к счастью, не находит себе читателей и ценителей вне пределов известной касты. Мертвая доктрина г. Новицкого и составителя «Философского лексикона»<sup>37</sup> ни для кого не может быть опасна. Она не от мира сего, и мир ее не поймет. Эти дряхлые явления могут быть смело пропущены критикою и оставлены без всякого внимания публикой. Можно

\* «Призраки театра» (*лат.*); по Бэкону — заблуждения, возникающие под влиянием ложных теорий. — *Ред.*

благообразнее наших, но в сущности все равно, пеньковая или шелковая веревка вяжет вас по рукам и по ногам! Шелковая даже хуже; от нее не так больно, и потому связанный легче мирится с своим положением. Отношения «Отечественных записок» к разуму отличаются робостью; самодеятельность мысли отошла от них вместе с Белинским; новая идея не найдет себе приюта на страницах этого журнала; риск велик! Кто ее знает, эту идею? Вдруг окажется вздором, не примется в обществе; начнут над нею смеяться; нет, лучше не рисковать; лучше идти себе битую дорожку, печатать новости задним числом, хвалить то, что уже все признали хорошим, и бранить то, в чем еще сомневается большинство. Внешним образом эта черта характера «Отечественных записок» выразилась в том, что, сколько мне помнится, ни один литератор не начинал своей карьеры в «Отечественных записках». Когда имя делалось известным, г. Краевский допускал его на Олимп; талантливый юноша, не печатавший до того времени нигде, не мог прямо попасть в «Отечественные записки», хотя бы он был семи пядей во лбу. Это было очень благоразумно со стороны г. Краевского. Когда нет творчества, не надо творить; когда нет собственной критической способности, надо поневоле полагаться на мнение других; «вечем петь, когда голоса нет», говорит русская пословица. Откровенное сознание собственной несостоятельности — дело очень похвальное, хотя, конечно, было бы еще похвальнее совсем не браться за такое дело, в котором не смыслишь ни аза.

Итак, робость и неясность отношений составляют букет «Отечественных записок». Причина этих свойств заключается отчасти в дипломатической осторожности, отчасти в слабости мысли. Ширина и смелость взгляда, неумолимая последовательность логики, ясность и простота в решении вопросов свойственны только живому уму, а его нет в редакции «Отечественных записок». Посредственность не любит быстрого поступательного движения; оно ее утомляет; довольствоваться наличным умственным капиталом, старую философскую систему, шлифовать и полировать уголки, любоваться деталями — вот ее дело, вот сфера ее муравьиной деятельности. А тут вдруг придет какой-нибудь нахал, все переверочает, все переломает, на шумит, напылит, так что после его вторжения хозяин не может узнать своего уютного кабинета, в котором все было так аккуратно, так невозмутимо-спокойно, так тихо и безмятежно. Собирается он с силами, чтобы после нашествия нового Аттилы привести в прежний порядок свою крошечную системку, в которой ему было тепло, в которой он чувствовал себя безопасным, как улитка в раковине, и к которой он даже, может быть, успел приохотить кружок почтительных и кротких прозелитов. Хлопочет он о том, чтобы истребить следы разрушительного набега, да что-то не ладится; прозелиты ошеломлены; одних прельстила смелость вражеского натиска, других она удивила, третьих привела в негодование, но во всяком случае

все они уже не те невинные, непосредственные, нетронутые слушатели, какие были прежде. Да и система не доставляет добродушному хозяину прежнего умственного комфорта. Молча перенести дерзкое нападение невозможно: самолюбие мешает, да и опасно; мальчишки — народ заносчивый, зазнаются, примут молчание за признак слабости; надо спорить, да и притом как спорить! Состязаться с человеком одной школы с вами приятно; говоря с ним, вы можете сослаться на положения учителя, и, лишь бы статья вашего общего кодекса была подведена верно, ваш противник согласится с вами и даже будет смотреть на вас с сугубым уважением, как на человека, которому полнее доступна неизреченная мудрость. Но спорить с человеком другой школы совсем не то; вы сошлетесь на авторитет, а он вам скажет, что знать его не хочет; вы скажете: «Это говорит Гегель!», а он ответит: «А мне что за дело!» — Вам придется доказывать основные положения, шевелить такие строила учения, которые вы считали незыблемыми и неприкосновенными, придется переделывать сызнова дело учителя, и притом при таких условиях, которые значительно усложняют задачу. Когда жил и действовал учитель, тогда люди его времени еще не могли приготовить против его учения разрушительных доводов, по той простой причине, что учение было ново, свежо, способно развиваться и не похоже на жреческую символистику; когда жил этот предполагаемый учитель, он уловил последнее слово своего времени и развил его в систему; теперь настали другие времена; выработалось другое последнее слово, и можно сказать наверное, что если бы учитель жил в наше время, то и учение его вышло бы не такое, каким он его сделал. В наше время Гегель, наверное, не был бы гегельянцем, потому что только узкие и вялые умы живут в области преданий тогда, когда можно выйти в область действительно живых идей и интересов.

Итак, умственная посредственность всегда отличается пассивным консерватизмом и противопоставляет натиску новых идей тупое сопротивление инерции. Бывает и прозелитическая посредственность; иные нищие духом стремятся, очертя голову, вслед за увлекающим их талантом; слепой фанатизм и дешевый скептицизм одинаково часто встречаются в людях ограниченных; но в нашем обществе дешевый скептицизм, кажется, преобладает, потому что мы вообще страстностью не отличаемся. Вот эту-то тупую оппозицию инерции и беспричинного скептицизма вы встретите на каждой странице «Отечественных записок».

Слова «оппозиция» и «скептицизм» требуют некоторого пояснения. Оппозиция есть гарантия личности против посягательств большинства или силы; осмысленная оппозиция возбуждает к себе искреннее сочувствие и заслуживает полное уважение со стороны всякого благородного человека; но что вы скажете, например, об оппозиции помещицы Коробочки, не желающей про-

побольше читать, а это принесло бы ему немалую пользу, потому что тогда бы он не стал нам рассказывать мифы о Минерве и постарался бы поосновательнее обдумать вопрос, отчего это глуповцы спят таким глубоким сном и показывают друг другу «всевозможные светила небесные». Теперь он, повидимому, убежден в том, что рыться в глуповском навозе полезно, что *молодое поколение* ради своего умственного совершенствования *должно* внимательно вглядываться в каждую частичку этого вещества, каждую из них должно *осмеивать* и спасительным смехом своим должно ограждать себя от опошления и от возвращения к глуповской старине. Если бы г. Щедрин не был блестящим беллетристом и если бы вследствие этого он был принужден побольше читать и размышлять, тогда он не питал бы вышеозначенного убеждения и понимал бы некоторые вещи, которых он теперь не понимает и которые поэтому постараюсь ему объяснить.

Смеяться над безобразием глуповца все равно, что смеяться над уродством калеки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка; все эти смехи не дают решительно ничего ни тому, кто смеется, ни тому, кого осмеивают. Смеяться полезно только над идеею, потому что в этом случае смех есть сам по себе новая идея, отрицающая старую и становящаяся на ее место. Осмеивать идею — значит доводить ее до абсурда и показывать таким образом ее несостоятельность, но показывать так живо и так ясно, чтобы аргументация не утомляла читающую массу, чтобы эта аргументация иногда сосредоточивалась вся в одном эпитете, в одном намеке, в одной веселой шутке; такой смех действительно способен выворачивать наизнанку целые тысячелетние мирозерцания: стоит назвать только два имени — Вольтер и Гейне. Не всякий — Вольтер и Гейне, но всякий человек, обладающий светлым умом и сатирическим талантом, может и должен пристраивать свой смех туда, где он имеет какой-нибудь смысл. А если он не умеет этого сделать, то ведь его никто и не принуждает смеяться публично. Пусть смеется над глуповскими «Трефандосами» с добрыми приятелями, в тиши своего уютного кабинета. Что же касается до ограждения молодежи от возвращения к старине, то и тут смех г. Щедрина равняется нулю. Нас ограждает от пошлости не смех над пошлостью, а то внутреннее содержание, которое дает нам чтение и размышление. Чтобы человек не ел испорченной пищи, надо дать ему свежую пищу; а если вы ему не дадите свежей, он будет есть испорченную, потому что не умирать же ему с голоду из любви к свежести. У нас есть теперь это содержание, и есть основание думать, что оно у нас с каждым годом будет увеличиваться; это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека, как последнего звена длинной цепи органических существ. Мыслящие европейцы собрали и привели в порядок необозримую грудку фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания; в настоящее время история и политиче-

ская экономия прислоняются к изучению природы и постоянно очищаются от примеси тех фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых свойствах предметов. Умозрительная философия скончалась вместе с Гегелем, и приемы опытных наук проникли и продолжают проникать до сих пор во все отрасли человеческого мышления. Отрешаясь от школьных фантазий, наука, в высшем и всеобъемлющем значении этого слова, получает, наконец, в мире свое полное право гражданства; она формирует не специального исследователя, а человека; она закаляет его ум, она приучает его действовать этим умом во всех обстоятельствах вседневной жизни; она входит в общество и в семейство; она помогает людям, подобным Лопухову, разрешать посредством строгого анализа все запутанные и шекотливые вопросы, которые прежде решались наудачу слепыми движениями чувства; она входит в кровь человека и перерабатывает его темперамент; она создает величайших поэтов, тех людей, у которых живая мысль проникнута насквозь горячею струею чувства; тех людей, которые способны дрожать и плакать от восторга и созерцания великой истины; тех людей, которые дышат одною жизнью с природою и человечеством и у которых полнейший эгоизм имеет равносильное значение с всеобъемлющей любовью. Я исчезает потому, что для этого я жить и любить есть одно и то же; а если оно живет и любит, то оно, стало быть, живет миллионами жизней, живет в себе и в других, наслаждаясь процессом и целью той всемирной работы ума, которая облегчает или облегчит страдания всемирные.

И все эти непостижимые, но очень естественные чудеса делает наука, раскрывающая пред человеком жизнь клеточки, жизнь человеческого организма и историческую жизнь человеческих обществ. Все это она совершает не тем, что открывает человеку интересные тайны, а тем, что, вовлекая его в преследование этих тайн, усиливает и регулирует деятельность, необходимую для его счастья, и затем, когда деятельность эта доведена до сильной степени возбуждения и обратилась в привычное отправление организма, позволяет ему (человеку) обратить ее (деятельность) на ежедневное обсуживание и совершенствование всех междучеловеческих отношений. Словом, наука создает мыслящих людей; если она таким образом перевоспитывает человеческую личность, если ее влияние неотступно следует за человеком в семейство, и в общество, и в суд, и в лагерь, в купеческую контору и на профессорскую кафедру, на фабрику и к постели больного, в степную деревню и в уездный город, то, без сомнения, скромное изучение химических сил и органической клеточки составляет такую двигательную силу общественного прогресса, которая рано или поздно — и даже скорей рано, чем поздно, — должна подчинить себе и переработать по-своему все остальные силы. Это уже и теперь заметно. Скромное изучение началось настоящим образом с прошедшего

столетия, с тех пор, как Лавуазье создал химический анализ; когда оно началось, метафизика смотрела на него покровительственным оком. А где теперь метафизика? И кто ее тихим манером отправил в архив? И где теперь та наука, которая бы не подолжцалась к естествознанию и не отчаивалась бы в своем существовании, если естествознание не оказывает ей покровительства?

Наша русская цивилизация находится в особенно благоприятном положении для того, чтобы принять в себя эти обновляющие начала; ей благоприятствует в этом отношении именно то обстоятельство, что она находится еще в колыбели или даже в утробе матери; у ней нет укоренившихся преданий школы; нет в каждом городке легиона филистеров; нет фантастической рутины средневековой науки; перед нами лежит вся европейская наука: переводи, читай и учись! Не будем же мы в самом деле такими дураками, чтобы брать у других то, что они выкидывают за негодностью? Нет, не будем. Это мы доказываем каждый день, потому что постоянно переводим книги по естественным наукам и выбираем все, что поновее и получше. Если бы Добролюбов был жив, то можно поручиться за то, что он бы первый понял и оценил это явление. Говоря проще, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризацию европейских идей естествознания и антропологии. В его время интерес еще не был пробужден, и такие статьи рисковали остаться непрочитанными; теперь дело пошло на лад, и, сообразно с обстоятельствами, должна изменяться задача прогрессивного литератора; но г. Щедрин, разумеется, этого не понимает и все тянет попрежнему старую ноту, завещанную ему его молодым учителем; и не замечает он того, что его однообразное и невинное хихиканье отвлекает только от настоящего дела некоторую часть нашей свежей и умной молодежи.

Может быть, мое благоговение перед естествознанием покажется читателю преувеличенным; может быть, он возразит мне, что и естествознание будет приносить пользу и удовольствие только тем классам нашего общества, которым и без того не слишком дурно живется на свете. Книжки по естественным наукам, скажет он, издаются не для народа, и все сокровища, заключающиеся в них, все-таки останутся для народа мертвым капиталом. — На это я отвечу, что издание этих книг и вообще акклиматизация естествознания в нашем обществе неизмеримо полезнее для нашего народа, чем издание книг, предназначенных собственно для него, и чем всякие добродетельные толки о необходимости сблизиться с народом и любить народ.

Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вместе с тем выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того



в общих местах и в фразах; если оно не выражается в междометиях и восклицаниях, то это происходит единственно оттого, что Киреевский старается везде выдерживать тон серьезного и основательного мыслителя. На самом же деле в его статье, кроме внешнего тона, нет ничего солидного и основательного; он берет из Гизо (не указывая на источник) его мнение о том, что европейская цивилизация сложилась из трех элементов: из остатков классического мира, из христианства и из германского варварства, и на эту тему начинает разыгрывать вариации очень однообразные, утомительные и бесполезные. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута в этой характеристике девятнадцатого века. Мы не видим даже в общих чертах, как живут люди в Европе, как смотрят друг на друга различные сословия, к чему стремятся отдельные личности и целые партии, какие потребности жизни отражаются в литературе. Видно, что благоговение Киреевского перед первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нет дела до того, что ест французский блузник,<sup>3</sup> нет дела до того, что говорит на своем митинге английский ремесленник, нет дела до того, как богатая буржуазия эксплуатирует пролетариев и как буржуа, хозяин в своем доме и в своей семье, давит индивидуальное развитие своих сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающие в европейской жизни и составляющие ее животрепещущий и общечеловеческий интерес, проходят мимо его просвещенного ума, занятого недосыгаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремлениями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Киреевский, очевидно, думает, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины две немецких профессоров философии, олицетворяют в своих особах самые характерные моменты европейской цивилизации. Киреевскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истинного познания имеет мировое значение и что, высказавши эту мысль в научной форме, Шеллинг сделал истинно великое открытие, просто вконец раздолжил все человечество. Придавая такое колоссальное значение немецкой умозрительной философии, Киреевский, конечно, забывает, что вряд ли одна сотая часть всего населения Западной Европы интересуется диалектическими построениями немецких профессоров и что даже эта сотая не выносит для себя из этих диалектических построений ничего существенного. Если под именем цивилизации подразумевать те формы, в которые укладывается жизнь отдельного человека и народа, то умозрительная философия получит право участвовать в картине цивилизации настолько, насколько она содействует развитию и изменению бытовых форм и жизненных отношений. В этом случае она электрическим током проходит через тысячи работающих голов; когда же эта умозрительная философия ограничивается построением формул, тогда она оставляется на долю досужим людям, которых не помяла железная рука вседневной заботы и которым приятно

носиться в отвлеченных пространствах, вместо того чтобы смотреть на горе окружающих людей и помогать им делом и советом.

Умозрительная философия — пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, нуждающейся в насущном хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллинг, этого, конечно, не понял и Киреевский. Вместо того чтобы взглянуть на умозрительную философию как на хроническое повествование, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдвинуты и задержаны, Киреевский преклоняется перед философами как перед вожаками европейской мысли, любит их как цветом и надеждою европейской цивилизации. Замечательно, что масса читателей обыкновенно сочувствует мыслителю только в каком-нибудь одном, часто очень узком, часто чрезвычайно широком применении его идеи. Масса берет только практический вывод и обыкновенно делает этот вывод так смело и так резко, что сам мыслитель пугается и пятится назад. Анабаптисты и крестьянские войны были практическим выводом идей Лютера и Меланхтона, и Лютер вместе с Меланхтоном испугались и проклинали свое собственное дело. Так же точно Гегель, Шеллинг и все прочие предводители «немецкого любомудрия» проклинали бы те неожиданные выводы, которые делает Киреевский на основании их идей и их деятельности. Этим «первоклассным» умам Европы пришлось бы краснеть от стыда и досады, если бы они узнали, что их в России глядят по головке за то, что они показали неудовлетворительность чистого разума, составили реакцию против энциклопедистов XVIII века и, таким образом, натолкнули европейский Запад на возвратный путь. — Киреевский как мягкосердный московский юноша, сросшийся с идеями своего родимого города, увидал и понял в немецких философах только то, что имело сходство с его стремлениями. Чтобы согласить свое уважение к первоклассным умам Европы с своею слепотою привязанностью к тому, что толковали ему с детства маменька да нянюшка, Киреевский употребил довольно ловкий маневр: Киреевский говорит, что Гегель тем велик и полезен, что, доведя рационализм до крайних пределов, он показал недостаточность чистого разума и убедил людей в необходимости искать других источников познания, «очистил дорогу к храму живой мудрости». Вот, думает Киреевский, Запад увидал, что на своих философах далеко не уедешь; вот он погорюет, погорюет, да и обратится к нам за советом, а мы, конечно, дадим ему совет в московском духе; <sup>4</sup> Запад прислушается, увидит, что это «добро зело», скажет, подобно князю Владимиру, что, отведав сладкого, уже не хочешь горького, и заживем мы с Западом душа в душу, как жили с ним с лишком лет тысячу тому назад. В таких-то красках рисуются Киреевскому будущие отношения между цивилизациями России и Европы! Эти краски в его статье «Девятнадцатый